

**Гасан Чингизович Гусейнов – профессор Факультета филологии НИУ ВШЭ,  
доктор филологических наук**

Вся моя жизнь чуть ли не с четырнадцатилетнего возраста прошла под сенью моей главной учительницы и впоследствии моей научной руководительницы – Азы Алибековны Тахо-Годи, которая была спутницей жизни и ученицей Алексея Фёдоровича Лосева, великого филолога-классика. А самое начало было случайным. Я учился в 8 классе в химической школе, взорвался в руках пакет бертолетки с фосфором, и не мог несколько недель ничего делать руками. И тогда я от химии переключился в филологию. Пришёл посмотреть на кафедру классической филологии, впервые встретился с Азой Алибековной, увидел эту кафедру на Моховой, стал что-то читать...

В советское время выбирали специальность на всю жизнь. Было понятно, что не надо выбирать ничего на стрелке политическом. Выбор был – классическая филология, потому что говорили: вот настоящая классическая наука, и она всегда будет тебя как-то кормить. И вот парадокс: я пошёл в классическую филологию, потому что хотелось уйти от всякой современности, но когда я начал реально этим заниматься, оказалось, что всё это страшно актуально и как раз объясняет современность. Всё, что кажется нам древностью и чем-то не от мира сего, на самом деле именно и содержит ростки того, что сегодня остро. Эта острота касается значения слова, злоупотребления словом, в котором мы жили в советское время, искажения не просто абстрактной истины, а самого подхода к человеку. И классическая филология в каком-то смысле была кислородной подушкой, которая нас спасала от многих бед. С другой стороны, меня всегда интересовало представление о человеке, то есть в филологии меня интересовала антропология. Философия была идеологической дисциплиной. Если ты занимался, например, современной западной философией, то это должно было называться «критика современной буржуазной философии» – никак иначе. Ты попадал в идиотское положение: не успев еще толком изучить предмет, уже должен был критиковать его с позиций официальной философии. А филология была в этом смысле нишей.

С Алексеем Фёдоровичем Лосевым я познакомился, когда уже был на третьем курсе. И с 1973 года я приходил на Арбат, примерно раз в неделю. Алексей Фёдорович был величайшим тружеником. Он исполнял свою жизнь как некоторый подвиг, который считал себя обязанным выполнить. Попутно, поскольку он не видел, они с Азой Алибековной готовили людей, которые могли бы хоть чуть-чуть соответствовать его текущим задачам. У него было много секретарей, некоторые работали более интенсивно, некоторые по каким-то отдельным темам, вот как я. Алексей Фёдорович давал мне

задание: я должен был сделать и прочитать ему реферат какой-нибудь книги, которую он хотел использовать в своей работе, или он диктовал свои сочинения, или надо было редактировать что-то, записанное другими... Тогда же не было никаких компьютеров, а тархатеть на машинке он не любил – надо было более-менее аккуратным почерком писать. И вот эти занятия на протяжении примерно пятнадцати лет были для меня самым важным ученичеством, даже когда я этого не осознавал. Как формулируется мысль? Как человек, который не имеет шпаргалки в руках, сочиняет многотомное собрание с тончайшей, ажурнейшей структурой глав и параграфов? Как всё это держит в памяти? Вы только представьте: человек тебе диктует не по писаному, а он тебе диктует свою книгу, которая вся у него в голове! И его представление о том, что наше собственное знание лишь малая доля какого-то связывающего людей общего понимания и что это не мы владеем языком, а язык нами владеет и нам надо под него подстроиться. Всё это было настолько значительно, что приобщение к этому чужому пониманию было огромным счастьем.

Любимая присказка А.Ф.Лосева – «корни учения горьки, зато плоды его сладки». При этом под «горечью» Алексей Федорович понимал вовсе не труд, который как раз был его усладой, а в некотором роде неудовлетворительные результаты иногда очень большого труда. Проблема науки в том, что плод, образ плода, который имеется у исследователя в качестве гипотезы, ведет его к корню, только достигнув которого ты сможешь сказать, что за плод ты, собственно, возвращал. Это не словесная эквилибристика, а как раз довольно горькая истина. Научный результат – опровержимый или открытый для опровержений, но и пригодный для трансляции и передачи дальше по эстафете поколений, – может прокиснуть, не достигнув качества благородной горечи. Вот это и есть та горечь пилюли, которую учителя призывают или заставляют проглотить своих учеников. Корень здесь понимается и немного фармацевтически.

То, что я буду рассказывать сейчас, – это ответ на вопрос собеседника и некоторый мемуар, который важен для меня самого и для тех, кто занимается или будет заниматься историей последнего поколения собственно советских гуманитариев, – просто как отдельный случай, кейс, так сказать.

У книги А.А.Тахо-Годи об А.Ф. Лосеве есть одно удивительное свойство: автор очень много говорит о молодых спутниках и учениках – своих и Алексея Федоровича. Это свойство настоящего учителя. Азе Алибековне сейчас за девяносто. А говорили мы об этом ее искусстве с когдатозшим ее взрослым студентом (он был фронтовиком) и моим, наверное, первым наставником по литературоведению – Виктором Исааковичем Камяновым. Школьный учитель, литературный критик и редактор, он стал потом писать прозу. Обладал удивительным искусством объясняющей декламации стихов – не

художественного, а, как я потом это для себя назвал, академического чтения. Показать в реальном масштабе времени, как было сделано стихотворение и почему оно воспринимается так, эдак, а еще и иначе – в зависимости от степени вовлеченности читателя, – этим искусством Камянов владел мастерски, а учился ему он у Лосева. Алексей Федорович не раз говорил, что жалел, отчего Камянов не стал заниматься классической филологией. А Виктор Исаакович объяснял просто: после войны «на старости лет» браться за древние языки не хотелось. Не раз и не два рассказывал, как в конце войны, оказавшись в Норвегии, почувствовал себя «представителем русской литературы».

В университетские годы были, конечно, и другие учителя – и на филфаке, и за его пределами. Литературный критик Иосиф Львович Гринберг. Он и его жена заменили мне дедушку и бабушку, которых у меня не было, – мои родители были уже сиротами, когда я родился. Для Гринбергов литература была всем. Именно у них дома я прочитал, наверное, большую часть из того, что входило в середине XX века в читательский канон молодого человека, – от Зощенко, Гашека, Ильфа и Петрова до Томаса Манна или русских формалистов. Это было время, когда чтение замещало реальный социальный опыт. Вот почему именно мое поколение в конечном счете оказалось совершенно неспособно к социальному творчеству. Как бы прекрасна ни была меняющаяся мимика химер, химеры остаются химерами. А мне невероятно повезло с соседями по подъезду, где я прожил безвылазно с 1962 по 1975 год. Леонид Ефимович Пинский, который впервые дал мне прочитать самиздатский перевод «Мужества быть» Пауля Тиллиха. Рядом с Пинским жили Эмилия Александрова и Владимир Левшин, которые давали мне читать рукописи еще не опубликованных детских книг. Некоторые из них я помню до сих пор. Вдовы убитых писателей из нашего подъезда на Красноармейской – Кина, Лоскутова – точно относятся к кругу «учителей». Из их рук подросток получает не только книгу или настоящее письмо – из рук, чтобы знал, вспомнил вовремя! – но и кусок картины мира, который будет твоей опорой и десять, и сорок лет спустя. Цецилия Исааковна Кин, Григорий Маркович Литинский. И еще важнейшая линия – японистка, ученица академика Н.И.Конрада Ирина Львовна Иоффе и ее муж, Наум Павлович. Оба они страшно много курили и очень скупно, но рассказывали о своих лагерях. Сеймчан, Сусуман, Эльген. Когда я впервые попал в середине 1980-х в те края, в роли заштатного лектора общества «Знание», рассказы середины 1960-х ожили страшно. Потому что переспросить было уже невозможно.

Это были, стало быть, дорогие моей памяти учителя плохого ученика. Увы.

После университета я шесть лет преподавал в ГИТИСе. Потом у меня была операция, из-за которой я потерял голос на довольно длительное время. И тогда отец по большому благу устроил меня в Институт мировой литературы в 1984 году, где у меня сложились замечательные отношения с моими тамошними учителями, очень значительными людьми – Сергеем Сергеевичем Аверинцевым и Михаилом Леоновичем Гаспаровым. Они никогда бы сами не признали себя моими учителями, но рядом с ними находиться и ничему у них не учиться, не воспринимать их как школу, было нельзя. Вместе с тем оба они не были нацелены на учительство. Учитель – это человек, который даёт тебе задание, ты его выполняешь, и он с тобой вместе разбирает, что ты сделал не так. Человек, который тебя, так сказать, шпыняет. А с ними таких отношений у меня почти не было.

У Азы Алибековны я писал свою кандидатскую диссертацию по Эсхилу. Она называлась «Мифологемы судьбы, правды и ритуала в трагедиях Эсхила». Меня всегда волновало соотношение словесных средств выражения некоторой концепции и изменение во времени этой концепции в зависимости от слов, которыми это явление описывается. Например, представления о судьбе. Что такое судьба? Если всё предписано человеку, то к чему, вообще говоря, шевелиться? А если не всё предписано, значит, нет никакой судьбы. Это понятие становится совершенно запретным в христианстве, где другое представление о Провидении, о личных отношениях с Богом, о диалоге... Хотя в отношениях с судьбой и с роком тоже есть некоторая форма диалога: человек, чтобы узнать своё будущее, вступает в диалог с оракулом. Но он вступает в диалог с оракулом, чтобы узнать, что будет, причем независимо от того, что он сам станет делать. А в отношениях с Богом верующий всё-таки стремится узнать, что ему делать, как ему поступить, какой выбор ему лично сделать. Таким образом меняется представление о судьбе.

А докторская диссертация возникла благодаря другому человеку, который в формальном смысле моим учителем не был, но у которого я многому научился и продолжаю учиться. Это выдающийся учёный и создатель своей школы Сергей Юрьевич Неклюдов. Вообще-то Сергей Юрьевич – монголист, занимался фольклором и стал заниматься постфольклором, а в сущности теорией словесности в индустриальном, посткрестьянском и немножко вторично малограмотном обществе. С одной стороны, существует высокая литература и наука, с другой стороны, существует фольклор где-то там, в горах и лесах, а в городе есть такая странная промежуточная форма, и она объединяет и интеллигенцию, и простонародье, и самых разных людей. Сергей Юрьевич Неклюдов открыл целое направление в науке, бросив своих учеников в эту среду.

Много лет я работал над словарем идеологем, которые были в русском языке в 1990-е годы (первая часть словаря) и в советское время (вторая часть). С конца 70-х годов выписывал на карточки слова – те, что имели жесткую привязку к определенному времени, или те, у которых на наших глазах менялось значение. И эту книжку я, к слову сказать, делал по заветам Лосева: библиографический указатель к ней построен так, как Лосев составлял свою библиографию. Обычно библиографию составляют по алфавиту, а Лосев строил свою библиографию по хронологии: тогда, просто читая список литературы, видишь, как менялась фокусировка тем, что появлялось нового в подходе. То, что в алфавитном указателе никогда не увидишь.

Так вот, когда Сергей Юрьевич Неклюдов увидел наработанный массив и почти готовую книгу, он, что называется, велел из нее еще до ее выхода сделать докторскую диссертацию. Он считался «научным консультантом», а был человеком, который своим огромным опытом и необычайным талантом соединять далекие друг от друга вещи, в сущности, кристаллизовал это именно как диссертацию, которую я, получилось, специально не писал, но ведь, с другой стороны, работал над ней двадцать один год. Тут важно не формальное ученичество, а признательность за важные уроки, открытие поля, на котором ты увидел, что тоже можешь что-то интересное тебе и, может быть, другим сделать.

Необыкновенно важным было для меня ученичество у Георгия Степановича Кнабе, которое началось еще в те времена, когда этот замечательный историк и филолог занимал должность заведующего довольно заштатной кафедры иностранных языков в одном из московских институтов. После прочтения первой его статьи «Римский гражданин Корнелий Тацит» в сборнике в честь Ф.А. Петровского я «записался» в его ученики, еще ничего о Кнабе не зная. В отличие от многих своих коллег, считающих наукой только то, что, как им кажется, непосредственно связано с их школьным предметом, трансляторами которого они должны оставаться, Кнабе интересовался посмертной жизнью исследуемой эпохи. Дело не только в том, что время – искажающая линза, но и в необходимости понять вирулентность чужой эпохи, со всеми ее бедами, в новые времена, в новом человеческом окружении. С этим связаны и опубликованные исследования, и многочисленные устные обсуждения того, что иногда неправильно называют «античным наследием» в русской культуре. Я абсолютно уверен, что следующее поколение историков культуры возьмется за изучение человеческой и академической судьбы советских ученых, то есть ученых советской эпохи.

Были и другие учителя, которые стали также и моими друзьями. И остаются друзьями, хотя их нет с нами. Например, Виктор Моисеевич Смирин – историк римского

права и изумительный знаток русской поэзии, друг Гаспарова и Аверинцева. Он был старше их обоих – 1928 года рождения, – и он был воплощением лучших черт своего поколения. Это был человек, с которым мы друг другу очень много читали стихов. И иногда эти стихи вместе разбирали. Мы подружились в конце 70-х годов, и с конца 70-х нас связывала очень тесная, глубокая дружба, и филологическая тоже. Мы вместе ездили в Крым большой компанией, и там, на рубежах восточного Средиземноморья, представляли себе античность. И я вспоминаю о нём как о большой потере, но вместе с тем часто с ним беседую. Мы с женой и дочкой нет-нет да и обменяемся словечками Вити, когда-то врезавшимися в память. Часто пытаюсь перенести оптику этого человека на время, которого он уже не знает, на ситуации, которых он уже не знает. И я думаю, что это один из признаков ученичества, который хочется сохранить подольше.

Смирин был потрясающим редактором и критиком перевода. Его любимой поэтессой была Ольга Седакова, и он тщетно пытался и мне передать свое понимание ее поэзии. Мне были ближе поэты, отошедшие от русской архаики. Для меня учителем понимания нового поэтического языка стал поэт Владимир Бурич, очень рано умерший. Новая поэзия была мишенью постоянного преследования со стороны официоза и по большей части хамского непонимания со стороны многих признанных и даже хороших поэтов, которые нанесли этим своему языку непоправимый урон. Владимир Бурич был очень добрым человеком, никогда никому не завидовал и обладал даром показывать собственные стихи как события, словесные картины, особого рода беспредметную живопись, явленную в слове.

Учитель – это человек, который видит твои слабости и никогда не устает о них с тобой говорить. И еще человек, который не устает твою персону изучать: что-то ты сделал за «отчетный период»? куда тебя занесло? Когда похвалит, когда отругает, но всегда знает, где ты находишься – не в географическом смысле, а в содержательном. И тут бывают неожиданности. Когда я приехал в Германию, поддержать связь с моим официальным наставником я, к стыду своему, не сумел: слишком резко ушел в современную русскую политическую филологию, дезертировал, так сказать. Но один человек – профессор Дитрих Гайер, – посмотрев, чем я занимался многие годы, на что разбрасывался, вдруг нашел сквозную линию, которую я сам для себя никогда в таком виде даже на четвертом десятке не формулировал. Как будто что-то мешающее отлетело, и возникло необычайно резкое изображение тебя самого. Прием, которым воспользовался Гайер, хорошо известен в педагогике, и я его часто наблюдал, например, у лучших преподавателей языков, которые умели дифференцированно оценивать знания своих учеников, чтобы показать, куда нужно бросить новые силы в первую очередь.

В такой исключительно интенсивной и полезной для следующего поколения форме, как у Гайера, я ее больше не наблюдал. Зато всех его учеников, вышедших из Тюбингенского гнезда, распознаешь, где бы те потом ни очутился.

Здесь возникает понятие школы. В МГУ такой школы не было, а вот в Тарту, у Ю.М. Лотмана, и в Ленинградском университете, у историков и филологов-классиков, она, мне кажется, была. В Москве она начала складываться вокруг Е.М. Мелетинского и С.Ю. Неклюдова в РГГУ, но дальнейшая судьба этого университета довольно туманна. Однако самое удивительное явление – это, конечно, Тартуская школа. Ее неправильно называют Московско-Тартуской: только в Тарту был университет, где реально выращивались новые поколения учеников, отобранных, прошедших школу и перенесших ее семена туда, куда их жизнь потом занесла. А москвичи – сотрудники по большей части академических институтов – там оказывались лишь постольку, поскольку в столице СССР сосредоточилось подавляющее большинство вообще всех специалистов, некоторые из которых, что называется, не могли не войти в орбиту Лотмана и Тарту.

Мне только однажды довелось на себе испытать учительский дар Ю.М. Лотмана, когда мы общались на осенней школе Совета по сознанию АН СССР в Грузии. И в его учениках это отпечаталось – от Михаила Безродного, который теперь в Гейдельберге, до Романа Лейбова в том же Тарту.

Гораздо длиннее у меня список ученых, у которых я учился и даже местами выучился, но по стопам которых не пошел, потому что ушел в другую сторону. Например, пройдя курс греческой палеографии у великого Бориса Львовича Фонкича, не пошел дальше. Борис Львович и сейчас преподает этот курс на филфаке МГУ. Пока и я там работал, мы регулярно встречались. Как и почему выходит, что вокруг ученого такого масштаба и дарования не выстроили школу, остается для меня загадкой. Но здесь, очевидно, есть и моя вина.